

A vibrant, cinematic illustration of a tropical jungle. In the upper portion, a vintage, multi-engine propeller airplane with a weathered, golden-brown finish flies across a blue sky filled with white, fluffy clouds. Below the plane, a lush green valley unfolds, featuring a prominent waterfall cascading into a clear, turquoise stream. To the right, a traditional multi-tiered building with a brown tiled roof and a central spire is nestled among the dense foliage. The overall scene is rich in detail, with various tropical plants and palm trees visible throughout the landscape.

Антон Большемысов

Статья 29

Антон Большемысов

Статья 29

<https://litres.ru/73982196>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что, если ты - молодой сын плантаторов с колониального острова, а забота родителей о твоём будущем выглядит уж очень... своеобразной?

И ты поднял тихое восстание против этой заботы. А в итоге получишь - дирижабли, политические интриги и запутанные судебные процессы.

Антон Большемысов

Статья 29

Глава 1

«Виктория-Хаус» вонзалась в небо над Порт-Сандером, точно белокаменная игла, забытая великаншей. Семьдесят этажей. В городе, разлегшемся в илистой дельте Сандер-Ривер, это было почти неприличной дерзостью. Даже Губернаторский дворец, несмотря на всю свою колониальную спесь, припадал к земле, не смея подняться выше четырех этажей. Только эта башня, названная в честь императрицы-матери десять лет назад, царила над тропическим доминионом Олденир, как одинокий маяк над зеленым морем джунглей.

В этот час заката шпиль «Виктории» горел золотисто-розовым огнем, будто его коснулся луч иного, более яркого мира.

К смотровой площадке, распластав серебристые плавники, приник дирижабль. Громадный пассажирский левиафан, он ждал, чуть подрагивая серебристыми боками, и в этом нетерпении чудилась сдерживаемая мощь ветра.

Отсюда, с головокругительной высоты, Порт-Сандер лежал на ладони, словно ветхая проткнутая иглой карта с чужими пометками. Лабиринт каналов блестел ртутью; мост-

ки, переброшенные между островками, дрожали паутиной.

С одной стороны теснились особняки плантаторов, надменные и белые, точно сахарные головы; с другой — хаос трущоб, где в тростниковых лачугах ютились подёнщики-сундары, чей пот, смешавшись с речным илом, питал эту землю. Сандер-Ривер, маслянистая и широкая, была перетянута стальной застёжкой моста, а за ней, напоминая о грядущем веке, высилась бетонная громада Атомной электростанции. И уже за ней, почти сливаясь с воспалённым горизонтом, вставали вершины дальних Драконьих гор.

Сколько до них? Триста километров? Четыреста?

Фицджеральд Рандерс не знал. За семнадцать лет своей жизни он так и не добрался до Драконьих гор. Впрочем, как и любой другой из стоявших сейчас на этой галерее, где воздух был так разрежен, что слова обретали вес и падали вниз, не долетая до ушей.

Пол Рандерс, его отец, смотрел на горизонт со спокойным недоверием, с каким обычно смотрят в бухгалтерскую книгу. Совладелец крупной компании («Рандерс и партнёры: машины для плантаций и шахт с гарантией от метрополии»), он и сам ходил на выверенный, лишённый смазки механизм. Ближе к пятидесяти, дорогой костюм, галстук — удавка цвета запёкшейся крови — и строгое, слегка осунувшееся смуглое лицо. Серебряные нити в тёмных волосах казались не сединой, а скорее паутиной, которую плетёт время.

Он смотрел на сына со спокойной уверенностью собствен-

ника. Во взгляде этом читалось: «Я знаю своего мальчика». Так знают подержанную, но надежную вещь.

Виктория Рандерс была так же властна, как императрица-мать, чьё имя носил небоскрёб, но более молодая её версия — версия в сорок с небольшим, где бремя короны заменяет тугая причёска. Тёмные волосы на затылке были собраны в пучок, напоминавший нераспустившийся бутон хищного цветка. Её платье, строгое и дорогое, было скроено по последней провинциальной моде, и в этом чувствовался глубокий трагизм: оно кричало о столице, но акцентом тканей выдавало колонию.

И, наконец, — Алоя.

Она стояла чуть поодаль, держа в руке маленький потерянный саквояж, будто не смела вторгаться в священный круг семьи Рандерсов. Ей можно было дать пятнадцать, а можно — все шестнадцать, но время, казалось, с удивлением застыло у ее лица, не решаясь наложить тень.

Ростом она едва доставала Фицджеральду до плеча. Стройная — не той пресной стройностью барышень из пансиона, а гибкой, тугой, как натянутая тетива. Слишком светлые, заплетенные в тугую, как корабельный канат, косу волосы, слишком зеленые глаза с коричневыми искрами. Глаза, которые видели не ту реальность, что здесь, а ту, что ждала ее там, — за пеленой облаков, куда уйдет дирижабль. Платье — светлое, чуть ниже колен, простое, как дыхание. И легкие туфли без каблучков. В этом наряде, без единого украшения,

она казалась не подчиненной, а скорее замаскированной.

Однако в этот миг все смотрели не на её саквояж и не на её косу. Смотрели на Фицджеральда. И она тоже смотрела.

Фицджеральд поймал этот взгляд и вдруг увидел себя со стороны — словно душа на мгновение отлетела к поручням.

Высокий, с гривой тёмных, почти чёрных волос, падающих на оливковый лоб. Дорожный костюм сидит ладно, может быть, даже слишком — как оболочка для новой роли. В карих глазах надежда, но та ли это надежда, которой ждут? «Оправдаю ли я изобретённого ими меня?» — подумал он с тоской.

Мать говорила, и слова её были легки и пусты, как шелуха от орехов, съеденных в прошлый дождливый сезон. Он слышал эту тираду раз пятьдесят, не меньше. Каждое наставление вызывало жгучее, мальчишеское желание сделать все шиворот-навыворот. Сломать сценарий. Прямо сейчас, назло, сотворить безумство: остаться, плюнуть в пропасть, отказаться. Но именно острое понимание того, что «наоборот» погубит его, превращало материнские наставления в пытку. Это был парадокс: чтобы не возненавидеть её волю окончательно, нужно было пропускать её слова мимо ушей, но именно для этого их надо было выслушивать до конца.

Ситуацию спас стюард. Он вынырнул из недр дирижабля со списком в руках, и этот лист пергамента в сгущающихся сумерках светился, как лепесток магнолии.

— Господин Фицджеральд Рандерс и... — он запнулся

лишь на секунду, выживая из воздуха единственно верную интонацию, — ...леди Алоя Агура?

— Да, — выдохнул Фицжеральд, и протянул билеты. — Это мы.

— Видите ли, в чём секрет, сэр, — «Стюард взглянул на список, потом на них — и вдруг улыбнулся чуть виновато: — вы последние души, ещё не ступившие на борт. Ждем только вас. И тогда, с вашего позволения, мы отчалим на полчаса раньше. Ветер попутный. Он пахнет странствиями.

Фицжеральд пожал руку отцу — сухую и жесткую, как старое дерево. Поцеловал мать в щеку, ощутив горьковатый запах пудры и слез. А затем обернулся, сделав шаг в сторону, и легким движением пропустил Алою вперед — на натяжной брезентовый трап, ведущий в гулкое чрево дирижабля.

— Прошу.

Мать всхлипнула. Ветер немедленно подхватил этот звук и унес в сторону Драконьих гор.

— Джентльмен... — прокомментировал отец. Слово это было тяжёлым и значительным, но тут же разбилось о другое, мелкое, уничижительное, сорвавшееся с его губ почти беззвучно. — ...Даже с этой...

Конца фразы никто не услышал. Причальный замок лязгнул с резким, пушечным грохотом. Освобожденный дирижабль вздрогнул всем своим огромным телом, будто кит, пробудившийся от долгого сна, и, подхваченный жадным попутным ветром, начал свое путешествие прочь от земли, в ту

сторону, где еще не стерлись с карты великаны и не истлели от времени истинные чудеса.

Звук замка заставил Алою вздрогнуть — так вздрагивает птица, впервые ощутившая, что ветка под лапами больше не связана с землей. Она ступала по дюралевой лестнице, хитроумно врезанной инженерами в самую носовую кость дирижабля, и каждый шаг отдавался в ней немым вопросом. Прежде ей не приходилось летать, и сейчас все ее существо, казалось, пыталось привыкнуть к мысли, что тяжесть собственного тела больше не принадлежит её привычному миру.

Фицджеральд же знал всё, что случится дальше. Не потому, что был стар или опытен, а потому, что носил в себе осколки чужих историй — выцветшие кадры старых фильмов, страницы книг о дальних странствиях, и то единственное, почти стёршееся воспоминание о поездке на материк, в Рассел. Тогда родители взяли его с собой, но было это десять лет назад — так давно, что реальность истончилась и превратилась в сон. Сон, где пахло креозотом шпал и морской солью, где отец еще смеялся, а мать не хмурила бровей.

Но сейчас этот сон возвращался, обретая плоть из кевлара и гелия.

Где-то над головой проснулись динамики, и голос, очищенный от человеческого тепла мембраной, поплыл по коридорам:

— Уважаемые господа! «Первая аэронавигационная компания» имеет честь приветствовать вас на борту пассажирского дирижабля ТБ-112, носящего собственное имя «Аэлита»...

Слова падали размеренно и тяжело, как капли конденсата с серебристых труб. Голос сообщил, что все зарегистрировавшиеся уже на борту, и потому отправление будет досрочным. Маршрут лежал от знойного Порт-Сандера до самой Аурелии, сердца Империи, куда они прибудут, если не случится чуда или катастрофы, 27 августа одна тысяча девятьсот восемьдесят второго года. Фицджеральду показалось на мгновение, что дата эта звучит чересчур гулко, будто кто-то уже вписал ее в летопись событий, еще не свершившихся.

Для Алои же всё происходящее было сплошным, первоначальным ужасом, смешанным с восторгом. Она пугалась — не звуков, а самого пространства, оторвавшегося от земли. И скрывала это за той особой, безмолвной гордостью, какая бывает у людей, привыкших к своему подчинённому положению. Мир, такой понятный внизу, в душной тесноте портовых кварталов, здесь становился зыбким, грозящим рассыпаться на тысячи осколков.

— Нам нужно найти каюту, — сказал Фицджеральд, стараясь, чтобы голос звучал буднично. — Пятнадцатую.

Они двинулись по лабиринту. Коридоры вились, как ходы в муравейнике; лестницы уводили то вверх, в царство приглушенного электрического света, то вниз, где пахло машин-

ным маслом и нагретым металлом. Попадались двери с холодными табличками «Только для экипажа», где, вероятно, шла своя, тайная жизнь, и «Аварийный выход», за которыми — страшно было подумать — зияла бездна.

Несколько раз они сворачивали не туда, упираясь в глухие переборки или склады корабельного белья, пахнувшего карболкой и утюгом. Фицджеральд злился — на себя, не на лабиринт. Но сдерживался. Не при Алое. При ней хотелось быть безупречным, будто герой старого фильма, названия которого он уже не помнил.

Она шла следом беззвучной тенью. Только глаза её — зелёные, с коричневыми крапинками — быстро-быстро оглядывали всё вокруг: блестящие медные поручни, в которых отражался их двойной силуэт; мягкие ковровые дорожки, гасившие шаги; лампы под матовыми плафонами, горевшие ровным, приятным светом, будто янтарный мёд, застывший в стекле.

А затем где-то над головой, сперва едва слышно, высоким комариным писком загудели электрические моторы пропеллеров. И почти тотчас, словно откликаясь из глубокой, древней пещеры, медвежьим рёвом проснулись дизельные двигатели — надежные и вечные, как сама земля, которую они покидали. Пол под ногами задрожал мелкой, живой дрожью. Дирижабль больше не был мёртвой конструкцией — он становился существом, полным скрытых сил и намерений.

Наконец они нашли её. Дверь из тёмного дерева, чуть

выпуклая, с номером, выложенным латунью: «15». Цифры сияли мягко, как замочная скважина в иной мир. Фицджеральд взялся за ручку — прохладную, отполированную множеством ладоней, — повернул, приглашая Алою войти первой, и шагнул за ней, закрывая за спиной уже иной, новый мир.

Каюта дышала пространством — куда более щедрым, чем он ожидал. Три высоких овальных иллюминатора смотрели прямо в бесконечность, облака за стеклом проплывали медленно и торжественно, плотные, как взбитые сливки, подсвеченные вечерним золотом. Стена напротив отливала светлым деревом с резными вставками — виноградные лозы и невиданные птицы, — и в ней угадывалась дверь в душевую комнатку, пахнущую мылом и морской солью.

Слева от входа висело огромное зеркало в тёмной раме, и в его глубине, загадочной и мутноватой, отражалась вся каюта — и иллюминаторы и плывущие за ними облака, и стол, и они сами: высокий темноволосый юноша в строгом костюме и белокурая девушка в простом платье. Две фигуры, словно вырезанные из разных эпох.

И кровать.

Она стояла по центру, как алтарь в храме покоя. Высокая, широкая, с матрасом, обещавшим невесомость, застеленная белоснежным покрывалом, которое еще хранило геометрическую строгость недавней глажки. Две подушки, пуховые, в накрахмаленных наволочках, вздымались горой. Одеяло,

сложенное у изголовья, ждало. Всё здесь говорило о неспешном, благородном путешествии. Всё, кроме одного — кровать была одна.

Алая остановилась на пороге, будто натолкнувшись на невидимую стену. Фицджеральд увидел, как её взгляд скользнул по каюте — по шкафам, по столу, по креслам, обтянутым синим бархатом, — и замер на кровати. Замер надолго, будто натолкнулся на что-то невыразимо важное. Потом она посмотрела на него — быстро, испуганно, — и снова опустила глаза, пряча в ресницах вопрос, который так и не осмелился стать словами.

Тишина загустела.

— Ты... голодна? — спросил он внезапно, чтобы перебить эту тишину, чтобы разбить её вдребезги.

Она помедлила, будто вопрос долетел до нее не сразу, пробивая толщу воздуха и напряжения.

— Немного, — выдохнула она наконец.

— Тогда пойдем в кают-компанию. Посмотрим, чем кормят на имперских дирижаблях. Говорят, здесь подают отличный чай с имбирём и печеньем. А может, даже ананасы. Хочешь ананасов?

Она кивнула — едва заметно, одними кончиками светлых ресниц.

Первый раз он увидел её всего три дня назад.

Тот день выдался душным даже по меркам Олденира.

Полдень — жаркий, сырой, настоящий на испарениях мангровых зарослей, — загнал всё живое в тень. Плантации, расстилавшиеся за огромным окном поместья, опустели; надсмотрщики разрешили сундарам вздремнуть пару часов в пальмовых шалашах, и лишь стрекот цикад, похожий на звук ломающихся крошечных шестерёнок, нарушал тягучую тишину.

Фицджеральд лежал в плетёном кресле с книгой, но не читал — следил, как солнечный луч медленно, по сантиметру, ползёт по корешкам отцовской библиотеки. А потом из глубины дома донеслись шаги — матери и ещё чей-то, незнакомый, едва слышный, но заставивший сердце сжаться в смутном предощущении. И голос матери, строгий, как колокольчик, зовущий к началу действия:

— Фицджеральд, подойди.

Он отложил книгу — старый учебник римского права, — и прошёл в кабинет. Отец стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел на плантации с той неподвижной, гранитной задумчивостью, которая всегда означала, что решение уже принято. Мать сидела в кресле — прямая, как корабельная мачта, вцепившись тонкими пальцами в подлокотники. А рядом, чуть поодаль, опустив глаза в пол, стояла девушка.

Кожа её отливала лёгкой голубизной, как у людей, никогда не знавших палящего зноя. Белые, почти невесомые волосы заплетены в толстую косу, спускавшуюся на плечо; конец её стягивала зелёная ленточка — простенькая, хлопко-

вая, единственное цветное пятно во всём её облике. Платье — грубоватое, серовато-голубое, с чужого плеча — сидело мешковато, но даже сквозь эту мешковатость угадывалась фигура, уже тронутая женственностью: плечи, смягчившие угловатость, грудь, которой тесно в дешёвой ткани, тонкая талия. Она была чуть ниже матери, но казалась ещё меньше из-за того, как держалась — сжавшись, будто готовясь к удару.

— Это Алоя, — сказала мать. Голос её прозвучал почти буднично, словно объявляя новое приобретение для дома. — Садись, девочка, не стой.

Девушка сделала шаг, другой — бесшумный, точно ступала не по паркету, а по зыбкому песку, — и скользнула на стул, на самый его краешек, так что казалось: она готова вспорхнуть в любую секунду, исчезнуть, раствориться в солнечном воздухе. Фицджеральд смотрел на неё с любопытством, в котором уже тогда, в тот первый миг, была странная, ещё не осознанная им самим тревога. Он знал, что на плантациях работают сундары — беловолосые, светлоглазые, покорённые полтора века назад, — но в главном доме их было мало. Только старая нянька, когда-то растившая его, пахнувшая травами и младенчеством, да кухарка, что готовила варенье из имбиря, наполняя кухню сладким, щиплющим ноздри духом.

Эта же была юной. Почти девочкой. Почти тенью.

— Алоя училась в приюте для сирот-метисов, — продол-

жала мать. — Прият, к сожалению, испытывает финансовые трудности. Отец решил помочь.

— Помог, — поправил Пол Рандерс, отставляя чашку с кофе на блюдце с коротким, точным стуком. — Двести крон. Неплохая сумма.

Двести крон. В этот миг Фицджеральд физически ощутил, как названное число повисает в воздухе, обретая вес и объём. Он знал цену деньгам — отец приучил его к этому так же неукоснительно, как к латыни и утренней гимнастике. Это был хороший, почти новый кабриолет с кожаными сиденьями и никелированными ручками.

Или три года учёбы на юридическом факультете.

Или... покупка человека.

— А взамен прият передал нам поручительство над Алоей, — закончила Виктория. — Теперь она будет жить с тобой в Аурелии. Убирать в квартире. Готовить. Переписывать лекции — у неё, говорят, изящный почерк.

— Печатать твои статьи на машинке, — добавил отец. Он грезил, что Фицджеральд станет знаменитым юристом, — и не скупился на средства: квартира в старом доме у Соборной площади, где пахнет старыми клёнами, лучшие преподаватели Имперского университета, теперь вот — личная помощница.

Фицджеральд перевёл взгляд с матери на отца, потом на девушку. Она сидела совершенно неподвижно, только ресницы вздрагивали — длинные, белёсые, почти невидимые на

бледной коже, словно снежинки, опустившиеся на мрамор.

— Понятно, — сказал он. И, помолчав, пока тишина в комнате стала почти осязаемой, как натянутый бархат, добавил: — Она говорит по-энгвеонски?

— Безупречно, — ответил отец. — У неё отличный аттестат. В приюте хорошо учат. Всем предметам школьной программы. И, говорят, даже музыке.

— Я играю на цитре, — вдруг тихо сказала девушка. Голос у неё был низкий, бархатистый, пробирающийся под кожу, как у певичек, что выступали в портовых кабачках, но без их развязности. В нём слышался сумрак, тихая вода, ветер над тростниками. — Немного.

— Вот видишь, — мать удовлетворённо кивнула. — Образованная девушка. Пригодится.

Затем мать увела Алою показывать комнату для прислуги, а отец позвал сына в кабинет. Там пахло кожей кресел и табаком из резной туземной трубки, на стенах в застеклённых шкафах висели ружья — старые, с гравировкой, помнившие ещё первые выстрелы на этой земле; на столе стоял бронзовый письменный прибор с гербом рода Рандерсов: чайный куст и якорь — символ плантаторской хватки и морской удали, что вознесли их предков.

— Садись, — сказал Пол, указав на кресло напротив. Сам он обошёл стол, сел в своё — высокое, с кожаной спинкой, протёртой до мягкого блеска, — и долго, изучающе смотрел

на сына. — Ты, наверное, думаешь, зачем нам эта девчонка?

— Честно говоря, да, — признался Фицджеральд. — Горничную я мог бы нанять и в Аурелии.

— Не горничную, — отец усмехнулся в усы, и усмешка эта была горькой, как хинин. — Погоди. Сейчас мать придёт, она лучше объяснит.

Виктория вошла через минуту — бесшумно, словно и не уходила вовсе, а ждала за дверью, — закрыла за собой створку и села на диванчик у окна. Сложила руки на коленях — жест, который Фицджеральд знал с детства, знал до мурашек по коже: он означал, что разговор будет серьёзным и окончательным, как зачитывание приговора.

— Сын, — начала она. Голос её был мягким, почти вкрадчивым, но в этой бархатной мягкости звенела сталь, закалённая в кузницах многолетних интриг и расчётов. — Ты едешь в Аурелию. Это большой город. Огромный. Там есть всё: мраморные набережные, театры, библиотеки, но и... соблазны, о которых здесь, в нашей глуши, ты даже не догадываешься. Я надеюсь, ты понимаешь, какие опасности таят случайные связи и... сомнительные заведения?

Он хотел возразить — привычно, по-мальчишески: «Я не собираюсь...» — но мать остановила его плавным движением поднятой ладони. Движением, отсекающим любое сопротивление.

— Я знаю, что ты не собираешься, — на лице её мелькнула тень улыбки, быстро погасшая. — Но ты молодой мужчи-

на. Тебе почти восемнадцать. У тебя есть потребности. Ты ещё полон сил, горяч, и... инстинкты могут взять верх над рассудком. Такова природа.

Фицджеральд почувствовал, как кровь приливает к щекам — горячая, тёмная волна, от которой звенит в ушах. Он хотел сказать что-то, возразить, но язык присох к нёбу, а мать уже продолжала — размеренно, словно зачитывала параграф из учебника домоводства:

— Случайные связи опасны. Ты же читаешь газеты? Болезни, шантаж, дурман... Девушки лёгкого поведения часто связаны с криминалом, и ты рискуешь оказаться втянутым в историю, которая разрушит твою репутацию прежде, чем ты успеешь сдать первую сессию. А девушки из хороших семей... — она сделала паузу, давая сыну додумать самому. — С ними тоже есть риск. Беременность. Вынужденный брак. Скандал, который ударит по карьере отца и по твоему будущему. Ты понимаешь, о чём я?

Он кивнул, хотя внутри всё сжалось от нехорошего предчувствия, холодного и липкого, как змеиная кожа.

— И вот, — мать выдержала паузу, как опытный актёр перед главной репликой, — в том числе и для того, чтобы оградить тебя от всех этих последствий, мы дарим тебе эту девушку. Алою. Она будет с тобой. Она не откажет. Она не может отказать.

Фицджеральду показалось, что в комнате потемнело, хотя солнце за окном всё так же заливало плантации белым, сле-

пящим зноем. Мать посмотрела ему в глаза — строго, требовательно, проверяя, доходит ли. Так смотрят на ученика перед сложным экзаменом.

— Самое лучшее в твоём возрасте, Фицджеральд, — это не пытаться обуздать инстинкт, запирая его в клетку из запретов и чувства вины. Это разрушает душу. Нужно найти для него цивилизованный, безопасный выход. И тогда ты сможешь с полной силой отдаться науке. Ничто не будет тебя отвлекать — ни неудовлетворённость, ни дурные фантазии, ни страхи. Ты понял меня, сын?

Фицджеральд кивнул снова, чувствуя, как жар от лица перетекает куда-то вниз, в грудь, в живот. Он слышал, читал в книгах, что в некоторых аристократических семьях так поступают с сыновьями — покупают им опытную любовницу или нанимают смазливую служанку, чтобы те не путались с кем попало и не наделали глупостей. Это было частью старого, неписаного кодекса, о котором шептались в курительных комнатах. Но чтобы это произошло с ним, чтобы мать — его собственная мать — говорила об этом так открыто, так расчётливо, словно о покупке породистой лошади...

— Вот поэтому Алоя будет с тобой. Она хорошая девочка. Тихая. Послушная. И красивая — ты заметил?

Фицджеральд кивнул. Да, он заметил. Заметил и запомнил, как солнечный свет запутался в её белых волосах, превратив их на миг в серебряную пряжу.

— Позволь только один вопрос, мама, — сказал он, ста-

раясь, чтобы голос не дрогнул, хотя внутри у него всё ходило ходуном, как палуба во время шторма. — Она ведь... тоже девушка. И значит, тоже может... забеременеть?

Мать улыбнулась. Улыбка эта на миг показалась ему ослепительной, как солнечный зайчик на лезвии ножа. Так улыбаются люди, предусмотревшие всё до последней мелочи.

— Мы и об этом позаботились. Достижения имперской медицины творят чудеса. Позавчера гинеколог — очень опытный врач, лучший в Порт-Сандере — во время осмотра поставил этой девочке новейшую внутриматочную спираль. Маленькую, почти невесомую, — она ничего и не заметила во время процедуры. И при этом, — мать чуть понизила голос, словно сообщая государственную тайну, — умудрились совершенно не повредить её... невинность.

Она произнесла это последнее слово так, словно речь шла о заводской пломбе на дорогом приборе. О сургучной печати на бутылке старого вина. О чём-то, что можно сохранить, оценить и в нужный момент употребить.

— Её хватит на три ближайших года, почти на весь срок твоего учения. А там — заменим. Или спираль, или девушку, если она тебе вдруг наскучит или не подойдёт.

«Заменим». Слово упало в тишину, как монета в воду. Как меняют протёртый диван. Как меняют старую пишущую машинку на новую модель. Как пару кроссовок, вышедших из моды.

Фицджеральд сидел, вцепившись в подлокотники кресла

с такой силой, что побелели костяшки. Ему было и стыдно — так, что жгло щёки, — и странно, и вдруг до тошноты противно. Но противно было не самому предложению, а тому, как о нём говорили: спокойно, деловито, будто речь шла о подписке на агрономический журнал или покупке акций чайной компании. И от этой будничности веяло чем-то более страшным, чем от любого открытого зла: веяло абсолютным, непоколебимым убеждением в своей правоте.

Он бросил быстрый, почти затравленный взгляд на дверь, за которой осталась девушка — Алоя. Слышала ли она? Понимала ли, о чём говорят в кабинете за плотными дубовыми створками? Догадывалась ли, что судьба её только что была расписана по пунктам?

— А она... знает? — спросил он.

— Ей объяснили её обязанности, — ответила мать сухо, голосом, не допускающим возражений. — Она умная девочка. Понимает, что для неё это лучшая доля. Квартира в столице, хорошая еда, возможность учиться дальше — она ведь способная, очень способная. И покровительство достойной семьи. Многие её сверстницы в приюте мечтали бы о таком. Она вытянула счастливый билет.

«Счастливый билет», — повторил про себя Фицджеральд. К тому, чтобы стать вещью, которую дарят, меняют, заменяют, когда она сносится. К тому, чтобы стать тенью чужой жизни. К тому, чтобы твоё тело, твою душу, твою тихую игру на цитре оценили в двести крон и оформили поручитель-

ством, как багажную квитанцию. Но вслух он ничего не сказал — потому что не находил слов, способных пробить эту броню спокойной, уверенной в себе любви.

Только спросил, глядя в окно, где дрожало марево над плантациями:

— Когда... отъезд?

Отец, всё это время молчавший, кашлянул и достал из ящика стола плотный конверт из желтоватой бумаги. Протянул сыну — не глядя, но с той точностью, какая бывает у людей, привыкших передавать важные бумаги.

— Через три дня. Здесь всё. Поручительство, её паспорт и аттестат из приюта, медицинское заключение. И билеты на дирижабль. Каюта-люкс, двухместная, — он сделал короткую паузу. — «Аэлита». Лучшее судно в имперском воздушном флоте.

Фицджеральд взял конверт. Бумага была тёплой от отцовских рук и чуть шершавой на ощупь. Он посмотрел на отца, потом на мать. Они смотрели на него в ответ — спокойно, уверенно, с выражением, которое не оставляло сомнений: всё уже решено, всё продумано, всё рассчитано, всё оплачено до последнего гроша. Это было не жестокостью. Всё было гораздо хуже — это был порядок вещей.

— Сын, — мать встала и подошла к нему. — Ты взрослый мужчина. Завтра начнётся твоя жизнь — та, ради которой мы столько трудились. Ты должен стать лучшим на своём факультете. Ты должен сделать карьеру, достойную име-

ни Рандерсов. — Она положила руку ему на плечо — рука была лёгкой, почти невесомой, но Фицджеральду показалось, что она весит целую тонну. — Алоя поможет тебе в этом.

Он кивнул — в который уже раз. Кивнул, потому что возражать было бессмысленно — родители всегда выигрывали споры, пользуясь оружием, против которого он был бессилен: непререкаемой логикой заботы.

— Вот и хорошо, — мать легко похлопала его по плечу, и жест этот был почти материнским, почти тёплым, но Фицджеральд ощутил его как пощёчину. — Иди погуляй, познакомься с ней поближе. Мы с отцом хотим, чтобы вы... привыкли друг к другу до отъезда.

Он вышел из кабинета, и в коридоре ему стало трудно дышать, будто воздух сгустился, стал вязким, как патока. Прошёл мимо кухни, где кухарка-сундарка гремела кастрюлями, мимо комнаты старой няньки, из-под двери которой тянуло запахом сушёных трав и детства, — и вышел на заднее крыльцо, выходящее в сад. Там, в тени навеса, в пятнистом кружеве света, пробивающегося сквозь листву, сидела Алоя на низкой скамеечке и смотрела на клумбу с розами. Белые волосы её на солнце казались серебряными, расплавленным лунным светом, и кожа была почти прозрачной — на висках проступал голубоватый узор жилок, тонкий, как паутина, а сама она — нереальной, как видение, как девочка из старой легенды, случайно забредшая в мир людей.

Она услышала шаги, вздрогнула, вскочила, опустила глаза — моментально, как заведённый механизм.

— Не надо, — сказал он. Голос его вдруг прозвучал мягче, намного мягче, чем он ожидал. — Сиди. Пожалуйста.

Она села, но не расслабилась — замерла, как птица, готовая вспорхнуть при малейшем шорохе. Фицджеральд прислонился к деревянным перилам, нагретым солнцем, скрестил руки на груди и долго, неотрывно смотрел на неё.

— Тебе страшно? — тихо, словно боялся спугнуть, спросил он наконец.

Вопрос, видимо, был неожиданным — она вздрогнула снова, на этот раз едва заметно, лишь колыхнулась зелёная ленточка в косе. Потом подняла глаза — серо-зелёные, с коричневыми крапинками, как упавшие в мох жёлуди, — и посмотрела на него с выражением, которое он не смог расшифровать. Так смотрят звери, застигнутые врасплох, или дети, которым ещё не объяснили правил игры. Будто она пыталась понять: это ловушка? Или правда? Можно ли довериться этому голосу, этим глазам, этому высокому неуклюжему парню с падающей на лоб тёмной чёлкой?

— Немного, — голос её, низкий, бархатистый, слился с вечерним воздухом, будто был его частью.

— Я постараюсь, чтобы тебе не было страшно.

Он не планировал этого говорить. Просто рот открылся сам — и вдруг оказалось, что это правда. И, произнеся их, он ощутил странную лёгкость — словно впервые за весь этот

душный, пропитанный ложью день сделал что-то, чего хотел он сам, а не его родители.

Он не знал, сможет ли сдержать обещание. Не знал, что ждёт их в Аурелии. Но в этот миг, глядя, как на губах Алои — бледных, чуть приоткрытых — зарождается робкая, неуверенная тень улыбки, вдруг понял, что впервые в жизни увидел человека, которому ещё страшнее, чем ему самому. И от этого открытия внутри что-то сдвинулось, зазвенело, будто тронутая рукой цитра.